

> МАГИСТРАЛЪ >

МЭРИ БРЭДДОН

Потерянный
для любви



Москва

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44
Б89

Mary Elizabeth Braddon

LOST FOR LOVE

Перевод с английского *Антонины Островской*

Литературный редактор *Влад Чарный*

Художественное оформление серии *Натальи Портяной*

Брэддон, Мэри Элизабет.

Б89 Потерянный для любви / Мэри Элизабет Брэддон ; [перевод с английского А. Островской]. — Москва : Эксмо, 2026. — 512 с. — (Магистраль. Главный тренд).

ISBN 978-5-04-236284-2

Лондонский врач Катберт Олливант, достигший к тридцати шести годам прочного положения и уважения в обществе, привык к размеренной, лишённой счастья жизни. Всё меняется, когда судьба вновь сводит его с другом юности и открывает перед ним новый мир — мир юной Флоры, чья чистота, свежесть и невинное обаяние пленяют его сердце.

Но там, где чувство требует смелости, вмешивается разум: Олливант колеблется, подавляя в себе зарождающуюся любовь, страшась разницы в возрасте и возможного осуждения. В это время рядом с Флорой появляется иной поклонник — молодой художник, блистающий лёгкостью, уверенностью и тем беззаботным очарованием, которого так недостаёт сдержанному доктору.

Перед лицом выбора, где любовь становится испытанием, каждому из них предстоит узнать, сколь высока цена упущенного счастья.

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-04-236284-2

© Островская А.Ю., перевод на русский язык, 2026
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026

ГЛАВА I

Доктор Олливант сидел один в своей библиотеке, которая служила ему еще и приемной, — просторной комнате, устроенной в задней части его дома на Уимпол-стрит. Наконец закончился очередной долгий, тяжелый день. В свои тридцать шесть лет он обладал обширной практикой, щедро вознаграждавшей его за преданность науке, но оставлявшей мало места для удовольствий. Впрочем, едва ли можно было сказать, что доктору Олливанту был известен истинный смысл слова «удовольствие», если только не в том ограниченном значении, какое предлагали словари. Его отец был трудолюбивым — а по мнению людей, и корыстолюбивым — сельским врачом, и в ту раннюю пору, когда детский ум начинает впитывать первые впечатления, он стремился привить сыну верное представление о жизни, неизменно созерцаемой с его собственной точки зрения: что жизнь создана для тяжкого труда, что без труда ни один человек не вправе рассчитывать на успех, а мирской успех — высшее из благ, доступных человеческой душе.

Катберт Олливант выучил этот урок, но применил его по-своему. Если бы он не был умнее своего отца, он, вероятно, счел бы успехом — или, как выражался отец, «продвижением» — укрепление и расширение родовой практики, степенной, старомодной, семейной, в дремлом городке Лонг-Саттон, графство Девоншир. Но юноша оказался куда умнее и образованнее своих родственников. Для него важно было стать личностью — воплотить

в жизнь новые идеи, двигать вперед науку и если не сделать большого открытия, то, по крайней мере, своими трудами принести пользу будущим поколениям.

Для юноши с подобными стремлениями Лонг-Саттон оказался тесен. Сэмюэль Олливант едва не выдрал последнее пряди редкого венчика волос, окружавшего его лысину, когда сын, завершив положенный курс обучения, объявил, что больше не вернется в сонный девонширский городок, где их семья жила и множилась из поколения в поколение. Отец мог передать свою добрую старую практику кому угодно. Он, Катберт, останется в Лондоне — он уже получил место приходского врача в многолюдном приходе бедного района Бетнал-Грин. Платили там ничтожно мало, но научная деятельность обещала быть блестящей.

Мистер Олливант стонал и скрежетал зубами, уверяя жену, что их сын — полный осел, но никакие уговоры не могли поколебать решимости этого заблудшего молодого человека. Катберт начал свою службу в окрестностях Бетнал-Грина в двадцать три года и усердно продолжал ее до двадцати шести, за исключением рождественских праздников, когда сыновний долг обязывал его приехать домой. Но больше в Лонг-Саттоне о нем ничего не знали. После трех лет неустанного труда — столь самоотверженного приходского врача даже старейшие жители прихода не видывали — он отправился за границу, учился во Франции и Германии, добрался до Петербурга, ознакомился со всеми школами медицины, а незадолго до своего тридцатилетия был вновь вызван в Англию — к смертному одру отца.

— Ты совершил большую ошибку, Катберт, — сказал старик в единственный краткий час, когда мог разумно поговорить с сыном. — Ты мог бы поднять на ноги нашу практику, если бы работал со мной последние семь лет. А теперь дело пришло в упадок. Я постарел... Я не люблю чужих и поэтому не брал помощника. Пилби и Джексон

сильно меня потеснили, Катберт, да и практика уже не та, что была во время твоего детства, теперь она приносит гораздо меньше. Но я оставляю тебе небольшое, но надежное состояние, несмотря ни на что. Все заслуга твоей матери — не было женщины бережливее.

«Небольшое, но надежное состояние», о котором он говорил, составляло несколько тысяч фунтов — вполне достаточно, чтобы уладить дела вскоре после похорон отца. Он продал практику в Лонг-Саттоне Пилби и Джек-сону, которые уже обслуживали три четверти пациентов в городе, и тем самым почти утвердил их монополию. Он охотно продал бы и отцовскую мебель, но здесь вмешалась мать. Стулья и столы, конечно, были старомодны, тяжело-весны, лишены изящества, но они сопровождали ее всю супружескую жизнь и напоминали о молодости.

— Только представь себе, Катберт, тридцать два года...

— Представляю, мама. Может, это повод начать новую жизнь с новой мебелью?

— Я слишком стара, чтобы начинать новую жизнь, милый. Да и старые вещи мне милее. — Она бросила нежный взгляд на старинный сервант из испанского красного дерева, который с годами потемнел почти до черноты. — Теперь таких уже не делают.

— К счастью, — заметил ее невзыскательный сын. — Перевозить мебель будет дороже, чем она сама стоит, но, если она вам дорога, ее, конечно, перевезут. Лично мне все равно, на каком стуле сидеть. Я не привередлив.

Так древний сервант, секретеры, бюро и огромные кровати с балдахинами — все вещи очень сурового и респектабельного вида — были перевезены из Лонг-Саттона в дом Катберта Олливанта на Уимпол-стрит. Там они были расставлены под надзором миссис Олливант, и его лондонское жилище приняло тот же мрачный, строгий и древний облик, который он помнил с детства.

Сама улица, на которой теперь поселились доктор Олливант со своей матерью, была не самой оживленной.

Она была непомерно длинной, и градостроители обделили ее шириной: тени домов мрачно нависали над фасадами с противоположной стороны. Но Уимпол-стрит — место фешенебельное, даже модное, по крайней мере принадлежащее к Вест-Энду, и доктор Олливант — он получил высшую степень в Париже и поспешил утвердить ее теперь в Лондоне — избрал Уимпол-стрит достойной основой для своей деятельности. С бедным районом Бетнал-Грин его больше ничто не связывало, но каждое утро — с восьми до десяти — он все равно посвящал два часа бесплатным пациентам. В первый год его жизни на Уимпол-стрит они были почти единственными его посетителями. Потом понемногу его слава начала расти: во время учебы за границей он выбрал себе узкую специальность — заболевания сердца, — написал небольшой трактат на эту тему и издал его в Лондоне и Париже. С помощью этой книги он привлек внимание множества праздных людей, уверенных, что страдают недугом сердца, и немногих тех, кто действительно был болен. Богатые почтенные дамы и джентльмены, жившие в одиночестве и жившие слишком хорошо, приходили к нему, находили приятной его манеру — сдержанную, холодноватую, но вежливую, внушавшую доверие к глубине его познаний, — и становились его постоянными пациентами. «Олливант о болезнях сердца» и «Олливант об аускультации» стали почти классическими трудами. Словом, Катберт Олливант достиг успеха, и к тому времени, как истекли пять лет его пребывания в доме на Уимпол-стрит, завоевал положение, которое считал ступенью к дальнейшей славе.

Теперь с ним жила его мать, как жила с ним с самого детства: она заботилась о хозяйстве и была для него приятной собеседницей в редкие минуты отдыха. В ее характере крайняя приземленность удивительным образом соседствовала с живым умом и воображением. Она откладывала томик Вордсворта или Шелли, чтобы распорядиться насчет обеда или заказать продуктов на неделю.

Она экономила деньги сына лучше, чем кто-либо другой. Она не позволяла пропасть ни черствой корке, ни чашке топленого сала и при этом сохраняла уважение прислуги и слыла щедрой хозяйкой. Обеды она заказывала простые, но со вкусом, и готовились они с таким изяществом, что могли бы соперничать с трапезами в любом модном клубе Вест-Энда. Каждая деталь сервировки была безупречна, хотя она не прибегала к современным изящным приборам: не было тонких, почти прозрачных бокалов и расписной майолики. Были тяжелые старомодные хрустальные графины, и массивное серебро сверкало на белоснежной скатерти. И над всем этим царило лицо матери, так похожее на лицо сына, с глубокими, живыми глазами и подвижным ртом.

Была половина десятого вечера, сырая ноябрьская осень. Дождь неистово барабанил по окну над головой доктора. Он поужинал и после этого провел час с матерью, беседуя о литературе и политике — она считала своим долгом интересоваться всем, что интересовало его, — затем спустился в свой кабинет, чтобы читать последнюю научную книгу, достойную прочтения.

Старинный серебряный чайник, чашка с блюдцем стояли на чипендейловском столике у его локтя. Доктор усмехнулся про себя, наливая чай.

«Прямо как старый холостяк, — подумал он. — Чай да полуночные занятия. Впрочем, я никогда не был молодым — в общепринятом смысле слова».

Вдруг его чуткий слух уловил, что в дверь дважды постучали.

«Так обычно стучит извозчик, — подумал он с легкой досадой, с тоской взглянув на раскрытую книгу. — Наверное, кто-то решил заглянуть, поболтать вечером... досадно, я как раз хочу добраться до сути его рассуждений».

«Его» — то есть автора книги, объемного тома страниц в пятьсот, половина которых была еще не разрезана. Доктор Олливант слыл не очень общительным человеком, но,

как он любил замечать матери, «человек не может пройти по жизни так, чтобы некоторые не вознамерились познакомиться с ним». Нашлось несколько таких настойчивых людей, сумевших утвердиться в его кругу против его воли, — самоназванные друзья. Это были главным образом его коллеги по профессии. Он приглашал их к себе обедать два-три раза в год и позволял заглядывать изредка вечерами, но никогда не поощрял частых визитов.

К нему вошел слуга — старик, служивший личным секретарем еще его отцу и прибывший вместе с мебелью из Лонг-Саттона, — и подал визитную карточку. Доктор Олливант рассеянно взглянул на нее, но тотчас оживился вспышкой удивления.

— Марк Чемни! — задумчиво произнес он. — Марк Чемни! — И, торопливо обернувшись к слуге: — Приведите его сюда немедленно.

Он принялся яростно мешать кочергой угли в камине — излюбленный мужской способ проявить радушие, — а затем поспешил к двери, чтобы встретить гостя. Мистер Чемни был его школьным другом более двадцати лет назад, когда он, совсем юный, учился в частном интернате в западном графстве, — лучшим другом в ту пору, когда он еще верил в дружбу.

Неожиданный гость вышел из полумрака прихожей в яркий белый свет кабинета. Это был высокий человек, его даже можно было назвать долговязым: длинные, несколько неповоротливые конечности, изможденное лицо, спасенное от полной непривлекательности честными голубыми глазами — мягкими, кроткими, почти женскими. Таков был Марк Чемни, старше доктора на четыре года, некогда его защитник. Чемни был тугодумом и атлетом. Хрупкий четырнадцатилетний Катберт переводил ему Гомера и Вергилия, а тот, в свою очередь, ограждал младшего товарища от школьных забияк.

Катберт — сам не лишенный храбрости — почитал Марка воплощением силы и мужества, своим Ахиллом,

Гектором, Аяксом. Они расстались, когда Марк окончил последний триместр, и поклялись быть друзьями на всю жизнь, и с той поры более не встречались — до сегодняшнего дня. Доктор Олливант испытал легкий укол совести при виде изменившегося — такого знакомого, но все-таки другого! — лица, вспомнив, как мало он сделал для сохранения этой мальчишеской дружбы. Но не был ли Марк так же в этом виноват? Они обменялись рукопожатиями.

— Я узнал бы тебя где угодно, — сказал Марк.

Доктор Олливант едва ли мог повторить это уверенно. Он лишь крепче сжал руку друга и произнес:

— Ты единственный человек, которого я действительно рад видеть, Чемни.

— Приятно слышать, Олливант, — ответил тот. — Потому что я пришел потребовать исполнения старого обещания — быть может, давно забытого.

— Нет, — серьезно возразил другой. — Не забытого, если ты говоришь о нашей клятве вечной дружбы. Я прожил жизнь, так и не научившись обзаводиться многими друзьями. С тех пор как ты защищал меня от Голиафов из гимназии Хиллерсли, у меня не появилось ни одного настоящего друга. — Катберт Олливант сказал это настолько искренне, насколько мог — горячность не была ему свойственна. — Странно, что мы ни разу не пересеклись за все эти годы, — продолжал он после недолгой паузы.

Мистер Чемни опустился в кресло с выражением усталости или безразличия — настроением, разительно отличавшимся от той атлетической энергии, которую Олливант помнил еще со школы.

— Странного тут меньше, чем кажется на первый взгляд, — ответил Чемни. — Ты когда-нибудь пытался меня найти?

— У меня не было ни одного свободного дня с тех пор, как я окончил учебу.

— Значит, нет. Что ж, Олливант, даже если бы и искал, результат оказался бы тем же: большую часть этих лет я провел на овечьем пастбище в Квинсленде.

Доктор почувствовал, как с души его свалился какой-то груз, тяготивший его с момента появления Марка Чемни.

— Как ты оказался в Квинсленде? — спросил он, звоня в колокольчик. Слуга — тот самый незаменимый человек, обладавший, казалось, врожденной интуицией, — явился мгновенно, неся резные бокалы и графин хереса на старинном серебряном подносе — фамильное наследие Олливантов. Даже бокалы были старинными, тяжелыми и громоздкими, по сравнению с современными.

— Как я оказался в Квинсленде? — повторил гость, вытягивая длинные ноги к камину и складывая на груди костлявые руки. Одет он был с головы до ног в светло-серое сукно, от чего казался еще выше. — Склад характера, склонный к авантюре, нелюбовь ко всем способам заработка, что были доступны мне дома. Я не был гением, как ты, Катберт. Всегда терпеть не мог умственного труда и проваливал каждый экзамен в Хиллерсли — ты, наверное, помнишь. Но с цифрами я неплохо управлялся, только не с теми, что написаны на бумаге. Услышал я как-то о счастливицах, что зарабатывали деньги на далеких овцеводческих фермах, и, когда мой отец, преуспевающий нотариус в Эксетере, предложил мне стать у него стажером, я не спорил, а попросту сбежал. Подробности побега я тебя утомлять не стану. Я покинул Эксетер с несколькими фунтами в кармане и добрался до Австралии матросом на грузовом судне. Первое время мне приходилось туго — я познакомился с голодом куда ближе, чем хотелось бы. Но ко второму году уже стал управляющим у человека, которому посчастливилось получить одну из лучших ферм в Дарлинг-Даунс — она простиралась более чем на десять миль в каждом направлении. Он арендовал участок у правительства за чисто номинальную плату, и в дни перегонов я стоял у ворот и помогал пересчитывать семьдесят

тысяч овец. Мой работодатель сделал состояние — шестьдесят тысяч фунтов меньше чем за десять лет, — но, вот беда, он допился до смерти... За несколько лет до кончины он взял меня в партнеры: белая горячка и деловая хватка были вещами несовместимыми — он это хорошо понимал и знал, что без меня ему не обойтись. Когда он умер, цены на овец были низкие, однако я успел скопить в австралийских банках достаточно, чтобы выкупить его долю. Так я начал жизнь заново, в тридцать лет, с состоянием в двадцать тысяч фунтов после всех выплат. Потихоньку продвигался дальше, принимая плохое вместе с хорошим, и еще пятнадцать лет трудился не покладая рук. А потом мне вдруг пришло в голову, что пора бы вернуться в Англию и увидеть дочь.

— Дочь! — воскликнул доктор Олливант. — Так ты женился? — Как будто это было самое невероятное событие из всех возможных.

— Да, — грустно вздохнул Марк. — Я женился на самой прекрасной девушке на свете. Она приехала в Хобарт гувернанткой — одинокое юное создание, почти без друзей. Я встретил ее там во время одного из своих летних отпусков и полюбил в ту же секунду. Полагаю, образ жизни, который я вел на ферме — я стоял по пояс в воде и следил за купанием овец да скакал по тридцать миль до завтрака в поисках отбившихся животных, — делает сердце мужчины восприимчивым ко всякого рода впечатлениям. Как бы то ни было, я влюбился в Мэри Гровер без памяти и не знал покоя, пока не попросил ее стать моей женой. Она сперва колебалась, и ее робость только сильнее меня привлекла, а когда я стал настаивать, она сказала — в самых милых выражениях, совсем не как я, — что не может стать моей женой, потому что она меня недостойна. Род у нее был не знатный: дед ее был джентльменом, но потомки его как-то опустились; словом, она дала мне понять, что все они откровенные бездельники и ей пришлось сбежать за океан, чтобы быть от них подальше. Это ничуть меня

не тронуло, и я прямо сказал ей об этом. Мне хотелось жениться на ней, а не на ее семье, и понемногу я ее уговорил. Она призналась, что не испытывает ко мне неприязни и что она даже чуть-чуть меня любит, потому что я, по ее словам, сильный и смелый — милая душа, откуда ей было знать! — и, наконец, что предпочла бы вести размеренную жизнь со мной в глуши Даунса, чем учить детей французским глаголам и гаммам в Хобарт-таун. После этого я не стал тянуть: мы обвенчались через три недели и я увез свою юную жену на ферму. У меня был добротный деревянный дом с десятифутовой верандой кругом — его построил Джек Фергюсон, мой покойный компаньон, — и мне казалось, он нам вполне подойдет. Но один Бог знает, как все вышло — климат ли тому виной, или спокойная жизнь вдали от общества пришлась ей не по нраву, — но моя дорогая жена зачахла и умерла всего через два года после нашей свадьбы и лишь год спустя после рождения дочери.

— Тебе следовало бы привезти ее домой, — сказал доктор.

— Этого я хотел больше всего, но она ни за что не соглашалась. Ее расстраивало любое упоминание о возвращении в Англию. У нее была какая-то непреодолимая причина туда не ехать, а я не мог ее огорчать... Я и не знал, что конец так близок. Она ушла от меня незаметно — словно цветок, который пересадили вечером, а к утру он уже завял.

Он поднялся и стал измерять шагами комнату, глубоко взволнованный этим воспоминанием. Катберт с любопытством наблюдал за ним. Выходило, что жена не пустая условность. Мужчина может дорожить ей по-настоящему.

— Мне очень жаль, Марк, — сказал он дружелюбно, все еще удивляясь, как такой большой человек может так убиваться по утрате женщины. — Но у тебя осталась дочь, она должна быть тебе утешением.

Это была всего лишь механическая попытка выразить сочувствие: доктор Олливант и понятия не имел, каким образом дочь может служить утешением мужчине.

— Она единственная радость моей жизни, — ответил тот с грубой, почти резкой выразительностью, странно контрастировавшей с ровной, благородной интонацией доктора, чей глубокий баритон был одним из его редкостных дарований.

— И все же ты решил с ней расстаться? — спросил доктор с недоумением. Вся эта история казалась чем-то из иного мира — мира чувств, о котором он знал лишь понаслышке, главным образом из любимого Вордсворта.

— Разве я мог позволить, чтобы она зачахла и умерла, как ее мать? Возможно, дело было в климате, хотя сильные мужчины там живут без вреда для здоровья. Я не мог допустить подобного риска для Флоры — красивое имя, правда? Это мать ее так назвала, потому я и отправил девочку домой с женой одного пастуха, когда ей было два года. Та привезла ее прямо к моим родным в Эксетер, но не успело ей исполниться семи, как умерла моя мать, а отец отправил Флору в пансион недалеко от Лондона. Он умер вскоре после этого, и вот дитя осталось сиротой среди чужих людей. Впрочем, казалось, она счастлива — по крайней мере, ее письма, эти милые детские письма, об этом свидетельствовали — и она оставалась в пансионе, пока я год назад не вернулся, не снял дом в Лондоне и не обосновался там со своей девочкой — в апреле ей исполнилось семнадцать, и теперь мы всегда вместе, — прибавил он с легким вздохом.

— То есть ты прожил в Лондоне целый год, не попытавшись меня разыскать до сегодняшнего вечера? — спросил доктор с оттенком досады.

— А ты прожил двадцать, так и не попытавшись разыскать меня, — возразил Марк. — Сказать тебе, что привело меня к тебе сегодня, Катберт? Это едва ли польстит тени нашей мальчишеской дружбы — если от нее хоть тень осталась! Думаю, ты уже успел узнать, что человеческая